

# Борода Аарона

## Рассказ

Евгеньев поморщился: Додик стоял около калитки и тер осколком кирпича железную щеколду. Увидев отца, он вскинул на него круглые, всегда серьезные глаза.

— А, это ты, папа. Добрый вечер... Ты знаешь, что я сегодня ел? Яблочный мармелад.

— Кто тебе дал? — спросил Евгеньев.

— Дала мама. Она купила триста грамм яблочного мармелада.

Евгеньев, не сказав ни слова, прошел в квартиру.

— Я несколько раз просил тебя не кормить ребенка сладостями, — ровным, спокойным голосом сказал он жене.

У его жены, как и у сына, были вопрошающие круглые глаза, узкий подбородок и кудрявые, слегка растрепанные волосы. Она с недоумением посмотрела на мужа, затем рассмеялась:

— Ах, ты о мармеладе! Что за ерунда...

Евгеньев нахмурился, но не стал спорить. Он не хотел портить настроения из-за пустяков. Возвращаясь домой, он избегал всяких волнений и неприятностей. Дом — это великое дело! Он разделся, аккуратно повесил пиджак, шляпу, затем взял плотно набитый портфель и ушел в соседнюю комнату.

— «Необыкновенное лето», — сказал он вполголоса, вынимая из портфеля книгу в красивом переплете.

Это была новинка, о которой он недавно прочел в газетах. Он всегда следил за отзывами и рецензиями в печати и когда встречал интересную новинку, спешил ее купить.

«Необыкновенное лето» стало в шкафу на полочке, рядом с «Чапаевым», «Цусимой» и солидными томами Советской Энциклопедии. Евгений полюбовался книгами и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

Он ходил и удовлетворенно смотрел вокруг себя. В комнате не было ничего лишнего. Здесь стояли стол, шкаф, кровать, репродуктор — все новенькое, свежее, недавно вышедшее из магазина. Евгений не любил старых, даже красивых вещей; в них, в этих замысловатых шифоньерках, полочках, вазочках и шкатулках с инкрустациями, ему чудились чуждые и уродливые вкусы старых поколений.

Ему нравилась простая белизна ничем не завешенных стен, прямые складки белоснежной скатерти, ровный электрический свет, высокие окна, открывающие свободный доступ воздуху и солнцу. Все это было просто, понятно и, несомненно, полезно.

— Ты будешь пить чай? — спросила жена из соседней комнаты.

— Нет, я хочу почитать газеты. Впрочем, дай стакан.

Он развернул газету и сел, удобно вытянув ноги. В углу мирно шепелявил репродуктор. Евгений читал, приподняв брови, на его лице было глубокое внимание. Иногда он брал карандаш и, не прерывая чтения, отмечал интересное место жирной чертой.

В соседней комнате возился Додик, гремели кубики, мяч, подскакивая, ударялся о стену. Наконец, все это стихло. В комнату вошла жена.

— Додик пришел проститься с папой, — сказала она, ведя сынишку за руку.

— А, уже спать... — отозвался Евгений, — ну, что ж, пора, девять часов...

Додик подошел, потирая глаза, он даже и теперь смотрел внимательно и серьезно.

— Ну, спокойной ночи, — сказал отец. — А что, ты зубы на ночь чистил?

— Не хочу чистить.

— Ну, как же, какой ты после этого пионер?

— Я не хочу быть пионером... — отвечал Додик.

— Пионер — он всем детям пример, — говорил отец, поднимаясь со стула, — зубы надо чистить обязательно...

— Он сегодня заигрался, устал... — вполголоса произнесла мать.

Но взглянула на мужа и сразу потеряла охоту спорить. Между тем Евгенийев тихонько подталкивал Додика к умывальнику.

— Кто чистит зубы, тот всегда здоров, — приговаривал он, — а кто здоров, тот полезный человек...

— Но я не хочу быть полезным человеком! — упрямо возражал Додик.

Все время, пока жена совала в рот сынишки зубную щетку, Евгенийев стоял возле умывальника и внимательно, ничего не упуская, следил за этой процедурой. Затем ушел к себе.

— Скверный папка! — донеслось из спальни, но Евгенийев только улыбнулся.

Он ходил по комнате, ступая мягко, как по войлоку, разглядывал книжные корешки или, откинув занавеску, смотрел на улицу. Горела ночная улица, сверкали витрины, дорогу во всех направлениях пересекали полосы света. Звон, гул, говор рвались в открытую форточку. Евгенийев стоял, слушал, и ему казалось, что голоса ночного города сливаются в одну стройную симфонию. Это была приятная симфония, она наведала отличные мысли: «все хорошо, все в порядке; ты — нужный человек, инженер, ты стоишь обеими ногами на советской земле».

В спальне затихло. Евгенийев взял газеты и пошел к жене. Она взглянула на него с упреком. Точно не заметив этого, он сел около нее.

— Сегодня, Лена, — сказал он, развертывая газету, — опять интересная статья. Все эти дни исключительно интересные статьи. Это знаменательный и глубокий факт, что газеты пишут о дружбе и любви, о сыновнем долге. Страна создает новую мораль. Взять сегодняшнюю статью о брошенной старушке...

Жена молчала. Он нашел отчеркнутое место и прочел вполголоса:

«...Такого преуспевающего инженера или кооператора, которые обрекли на голодную смерть свою мать-старуху, публично пригвоздят к позорному столбу. Таким людям не подаст руки ни один товарищ...»

Его голос звучал глухо, бесцветно, он делал ударения в ненужных местах и когда встречал такие выражения,

как «к позорному столбу» или «не подаст руки», то поднимал кверху палец. Жена внимательно смотрела на него, и выражение упрека на ее лице мало-помалу сменялось ласковостью, теплотой. В этом глухом голосе, в неуклюжем чтении, похожем на дьячковское, ей чудилось большое, непоколебимое убеждение, глубокий, но сдержанный энтузиазм, который как бы стыдится самого себя. Да, он понравился в первый раз и нравится до сих пор. Пусть он однообразен, суховат, пусть у него обыденная фигура, ничем не замечательное, слегка курносое и скуластое лицо, — в нем есть тот неугомонный дух, который роднит его с самыми интересными и блестящими людьми.

Она тихо засмеялась, но вдруг, что-то вспомнив, упрямо мотнула головой.

— Зачем ты мучил Додика? Он так хотел спать...

Евгеньев опустил газету.

— Надо с ранних пор прививать ребенку культурные привычки, — ровно, но непреклонно ответил он.

И ее вдруг умилил этот ответ. Мягко отстранив газету, она потянулась к нему, смеясь и опуская глаза:

— Куриоска ты моя славная...

\* \* \*

Однажды днем, когда муж был на службе, Евгеньева собралась за покупками. Она позвала сына:

— Додошка, пойдем со мной.

Солнечная, шумная улица сразу оглушила и завертела их в своем водовороте. Звенели трамваи, юркие авто, перекликаясь, мчались взад и вперед по блестящей асфальтированной дороге. Тянул горячий ветер, и листья в скверах, серые от пыли, трепетали, как сотни маленьких парусов. Мать с сыном держались за руки. Евгеньева все время поправляла рассыпавшиеся волосы и с улыбкой поглядывала на Додика: он был такой тихий, серьезный, уморительно маленький в уличной толчее.

По дороге прошли физкультурники, и толпа любопытных вдруг оттерла мать с сыном в другой переулок. Здесь было еще больше шума. По тротуару, окруженный детьми, мерно шагал оседланный ослик, на его спине сидела маленькая обезьянка. Пушистая, коричневая, она

вертелась во все стороны, чесалась и корчила гримасы. Мать взяла Додика на руки, и он, обычно сдержанный и спокойный, визжал от смеха, и щеки его горели.

Потом мать с сыном зашли в магазин и купили мармелад. Они сели в сквере на скамейке и развернули свою покупку. Евгеньева лукаво посмотрела на сынишку.

— А что скажет папа?

— Что же он скажет? Пожалуй, ничего.. — так же лукаво ответил он, отправляя в рот мармеладину.

Евгеньева засмеялась и, нечего греха таить, сама с удовольствием съела несколько конфеток. Ей было весело, как ученице, внезапно выскочившей из скучного класса на широкий школьный двор. Прищурив глаза, она смотрела перед собою и думала, что всегда будет помнить этот пестрый день — солнечные пятна на дорожке, уголок решетки и белую додикову панаму на зеленой скамейке.

— Однако, что же мы сидим? — вдруг спохватилась она. — Второй час...

Встали, но опять пошли без цели, куда глаза глядят. Звонкая улица привела их к рынку. Ларьки, киоски, лотки с пестрой мелочью, казалось, звали: добро пожаловать. Евгеньева медленно пошла по рядам. В одном месте она купила пучок редиски, в другом шнурки для туфель, в третьем заводную мышь для Додика. Затем из толпы вывернулась какая-то странная старуха в осеннем пальто, подпоясанная веревочкой; она держала цветочный горшок.

— Купите, мадамочка, цвет, — сказала старуха.

Цветок рос не вверх, а вниз из горшка; длинные тонкие нити свешивались к земле, и на них лепились мелкие, как грошики, шероховатые листочки.

— Как называется этот цветок? — спросила Евгеньева.

— Борода Аарона.

Додик прыснул, Евгеньева улыбнулась и даже удивительная старуха оскалила свои желтые клыки.

— Борода А-а-арона... — протянул Додик. — Купим, мама, бороду Аарона..

Все это было необычно и смешно, и Евгеньева, не задумываясь, уплатила ту сумму, которую спросила старуха.

— Ну, теперь домой, домой... Купим хлеба, масла — и домой...

Додик всю дорогу не спускал глаз с цветка. Он трогал листики и спрашивал:

— Мама, а почему его зовут бородой Аарона?

— А вот если будешь поддерживать покупки, я тебе расскажу.

Обняв сынишку, прижав к щеке его горячую щеку, она выдумывала на ходу какую-то фантастическую историю.

— Вот жил один старик, звали его Аарон. Такой старый-престарый старик с длинной зеленой бородой. Когда он шел по улице, то борода цеплялась за столбы... ну, еще за двери и окна. И вот раз пошел он погулять, да засмотрелся, наступил на свою бороду и упал. Лежит он, такой смешной, а по бороде бегут детишки, едут экипажи, автобусы...

— И трамваи... — хохотал Додик.

— Да, и трамваи. Однако, не вертись...

Так, смеясь, перебивая друг друга, они вернулись домой. Евгеньева быстро вбежала по лестнице и, тряхнув рассыпавшимися волосами, сказала, едва переводя дыхание:

— Ах, Додошка, я с тобой сама, как маленькая!

Цветок решили повесить в спальне, над окном, где больше всего было солнца. Додик принес из кухни гвозди и молоток, сам подставил к окну табуретку и, приплясывая от нетерпенья, наблюдал, как мать прикрепляет цветочный горшок к стене. И вот борода Аарона распустила в воздухе свои причудливые пряди-листья.

— Пускай папа удивится, — радовался Додик. — Он ничего не знает, и вдруг мы ему покажем...

Едва Евгений переступил порог квартиры, к нему подскочил Додик.

— Смотри, папа, у нас есть борода Аарона! Мы с мамой купили на рынке бороду Аарона!

Но сюрприз не удался.

— Что такое? — спросил Евгений.

Он стал, заложив назад руки, взглянул на цветок, и его глаза, привыкшие к строгим и простым линиям, были неприятно поражены этим новым украшением. Поджав губы, он молча смотрел на ослепительно-белые стены, на большие сияющие окна, поглядывал на цветок и был, по видимому, недоволен. Наконец сделал отрицательное движение рукой.

— Нет, это нужно убрать.

— Но почему?.. Почему? — спросила жена.

— Здесь это совершенно не идет. И вообще, лишняя пыль, меньше кислорода...

— Какой там кислород! — горячо сказала жена. — Ребенку понравился цветок, и это дороже всех кислородов в мире...

Евгеньев пожал плечами, как бы считая разговор оконченным, и ушел в другую комнату. Додик, разочарованный, притихший, вопросительно поглядывал на мать. Евгеньевой вдруг показалось, что день поблек, потерял все свои краски. Она опустилась на стул, сняла берет и, машинально поправляя волосы, спрашивала у себя:

«Как он этого не понял? Как не понял?»

\* \* \*

Евгеньева сняла цветок, но не убрала его, а поставила в углу, на высокой банке из-под монпансье. Кудрявые пряди вяло опустились к полу. Иногда Додик, играя, видел цветок и спрашивал у матери:

— Что же мы не вешаем бороду Аарона?

— Папе не нравится, — коротко отвечала мать.

И Додик опять забывал про цветок, но мать помнила о нем все время.

Евгеньев, повидимому, не замечал ни банки из-под монпансье, ни цветка; быть может, он просто не хотел их замечать. Приходя домой, он, как всегда, любовался своими книгами, читал газеты, и когда засыпал Додик, шел с ними к жене.

Он читал вполголоса, жена качала додикову кроватку, и трудно было понять по ее лицу, занимает ее чтение или нет.

Однажды Евгеньева слегка прихворнула. Весь день она куталась в платок, а вечером вдруг почувствовала себя очень одинокой, несчастной. Когда пришел муж, она сидела в углу на низкой скамеечке и, пощипывая платок, думала что-то невеселое. Поздно вечером Евгеньев, по обыкновению, явился к ней с газетой. Он читал, а она вяло, скучающе следила за ним — как он то поднимет брови, то значительно вытянет перед собою палец. Ей бросилось в глаза, что муж за последнее время заметно пополнил, и

на его шее то и дело образуется двойная складка. Неприятная складка. Как она не замечала ее раньше! Она слушала, не следя за смыслом, и почему-то все больше и больше раздражалась, когда муж делал длительную паузу между фразами или выделял отдельные слова, будто хотел вбить их ей в голову.

— Как ты думаешь, прав этот студент или нет? — спросил вдруг Евгенийев, опуская газету.

Она молчала.

— Ты, кажется, не слушала. Напрасно, статья очень интересная, — сказал Евгенийев, поджимая губы.

И она вдруг не сдержала своего раздражения.

— Почему ты думаешь, что это всем интересно? Представь, мне ничуть не интересно!

— Как это?

— Ну да. Нельзя с этим носиться каждый день... Любовь, дружба, брошенные старушки... Надоело! Ты читаешь об этом так, точно это появилось лишь со вчерашнего дня.

— Вся страна читает, — возразил Евгенийев. — Для чего же тогда об этом пишут в газетах?

— Пишут, чтобы исправить дурных людей. Достаточно прочесть раз-другой, чтобы все понять, а ты носишься с этим, как будто в самом деле никогда не слышал о любви и дружбе...

Евгенийев снисходительно усмехнулся.

— Носишься! — повторил он. — Какие у тебя выражения... Странно!

— Ну да, это надо иметь в душе... А ты так, будто заучиваешь инструкцию!

Будь Евгенийев внимательней, он заметил бы необычайное возбуждение жены — ее вспыхнувшие щеки, блестящие глаза; но в этот момент он аккуратно складывал газету и ничего не видел.

— Ты просто нервничаешь, — промолвил он. — Не нравится газета, так возьми какую-нибудь художественную новинку, например «Необыкновенное лето». Эту книгу рекомендует вся печать.

Лучше бы он не говорил этого.

— Не хочу я твоих рекомендованных книг! — крикнула жена. — Почему ты читаешь только то, что тебе рекомендуют? Везде инструкция... Не хочу, понимаешь?



— Ты, верно, нездорова.

— Ах, оставь! Считаю меня глупой, какую хочешь, но я люблю, смею любить книги, о которых не трубят в газетах,— Тургенева, Гоголя, Никитина. А твои книги мне не нравятся...

— Я не знал, что ты так консервативна...

— Да не в этом дело! — с тоской крикнула Евгеньева. Платок соскользнул на пол, она топтала его, не замечая; на ее лбу, у переносицы, появилась тонкая, страдальческая складка. Ей хотелось сказать все, что вдруг нахлынуло в голову; ах, если бы найти нужные слова!

— Ты слишком непогрешим, живешь без ошибок, как... по инструкции. И ты становишься похожим на прежнего обывателя, на верноподданного, который жил по готовому рецепту, не копался в сложных вопросах и всегда был спокоен. Когда ты читаешь газету, лицо у тебя самодовольное, неприятное. Так же, наверно, читали верноподданные, какие-нибудь благополучные трактирщики, купчины, лавочники...

Евгеньев покраснел и вдруг встал со стула.

— Я похож на трактирщика! — проговорил он громко, как бы не веря своим ушам.— Ты меня сравниваешь с трактирщиком?..

Евгеньева запнулась: она никогда не видела таким своего мужа. Он стоял оскорбленный, закинув назад голову, заложив за борт пиджака два пальца.

— Я советский инженер,— произнес он отдельно, ледяным голосом.— Я никогда не был трактирщиком и не могу им быть. И между мною и трактирщиками не может быть ничего общего.

«Ах, не то!» — хотела крикнуть Евгеньева.

Она вдруг испугалась, что завела этот разговор. Глупая, что она наделала! Ведь все равно она не сумела выразить свои мысли, все равно он ее не понял — это было напрасно, бесполезно...

— Прошу это отметить!.. — отчеканил Евгеньев, делая какой-то необычайный жест рукой.

Схватив газету, он вышел из комнаты. Она взглянула ему вслед: над воротником ночной рубашки внушительно лежала двойная складка...

\* \* \*

Этот вечер не прошел даром. Евгеньева вдруг как-то примолкла, замкнулась, ушла в себя. Пока муж находился на службе, она хозяйничала, возилась с Додиком, но стоило ему вернуться — садилась в углу на скамейке и умолкала.

Терпеливый и спокойный, Евгений мирился со всеми странностями жены, полагая, что они прекратятся сами собою. Но он уже не пытался приходить к ней с газетами.

Скучны были вечера в квартире Евгеньевых. В белых стенах стоял ровный блеск стосвечовых лампочек; равнодушный, он заглядывал в глубокий провал зеркала, скользил по пустым стенам. Вещи, новые, солидные, блестящие свежей полировкой, молчаливо смотрели на людей и, казалось, тоже изнывали от скуки.

Вечернее чтение газет и обсуждение прочитанного так и не возобновлялось. Вечерами было особенно скучно. Тихо, светло, лишь шелестит в кабинете перевернутая страница газеты. И вот однажды Евгеньева, уложив Додика, сама пришла к мужу.

— Можно задать тебе один вопрос?

Было что то необычайное в ее лице, голосе, во всей фигуре. Казалось, она едва владеет собой, своей внутренней тревогой. Но Евгений ничего этого не заметил. Он решил, что жена, наконец, соскучилась в одиночестве и пришла к нему мириться.

— Изволь, — ответил он спокойно, хотя в душе был очень доволен.

— Меня давно занимает следующее. Предположим, что в одной из школ появился отъявленный хулиган, мальчишка этак двенадцати—тринадцати лет. Он получает двойки, прубит учителям, дерется, бьет стекла. С ним маялись-маялись, наконец, исключили его из школы. Как с ним поступать дальше? Что с ним делать?

Евгений, поджав губы, некоторое время важно обдумывал ответ.

— Очень просто, — сказал он. — Я бы выдрал этого бандита, как сидорову козу, а потом в арестантские роты отправил.

Жена вдруг выхватила из-за спины смятую газету.

— Вы ошиблись, ваша непогрешимость! — звонко крикнула она и бросила газету на стол. — Вы ошиблись,

вы еще не читали инструкции! В газете пишут, что нет неисправимых детей, что надо поставить этого мальчишку в такие условия, где бы его мог перевоспитать труд...

Евгеньев взял газету и хмуро уставился на статью. Жена взглянула на него со злым торжеством и вышла из комнаты.

С тех пор это стало повторяться каждый день. Как только муж уходил на службу, Евгеньева бежала в киоск за газетами, возвратясь, садилась за стол и жадно прочитывала все статьи. Приходил муж — она задавала ему самые каверзные и замысловатые вопросы. И плохо приходилось Евгеньеву, если он отвечал невпопад. Жена смеялась коротким нехорошим смехом, смотрела уничтожающе и, оборвав разговор, вдруг уходила из комнаты, как только он начинал подыскивать возражения, оправдания, разъяснения.

Это было похоже на травлю. И Евгеньев, угнетенный, сбитый с толку, спросил однажды:

— Лена, зачем ты это?

— Зачем?.. — повторила она и вся так и рванулась вперед. — Затем, что у тебя вместо души инструкция, и я проверяю, хорошо ли ты ее выучил. Вообще, люблюсь тобой... Ведь ты единственный, непогрешимый, других таких нет...

И столько в этих словах было горечи, что Евгеньев счел выгодным промолчать. Но не лучше было, когда муж и жена не разговаривали между собой. Проходя по комнате, Евгеньев всякий раз чувствовал на себе внимательный, упорный, настойчивый взгляд жены; этот взгляд, казалось, сверлил ему спину. Он уходил к себе в комнату, задумывался, но ничего не мог придумать и только вздыхал.

Скоро в квартире стали сказываться следы семейного разлада. В комнатах появилась пыль. Огромные, беспорочно светлые, всегда чистые, как воздух, окна стали покрываться точками и пятнами. Полы уже не сверкали. Однажды Евгеньев взял щетку и сам подмел свою комнату; жена посмотрела на это равнодушно.

Евгеньев начал нервничать, раздражаться. Он чувствовал, что эти домашние неурядицы испортят ему характер. Однажды он, раздосадованный, остановился перед бородой Аарона.

— Зачем это здесь стоит? Надо убрать.

— Не надо, — однотонно отвечала жена.

— Как не надо? Все равно мы этого не вешаем. Только занимает место...

— Не надо! — повторила жена, вспыхивая, и даже привстала с места. Евгений посмотрел на нее и уступил: он не понял этой вспышки, счел ее простым капризом и решил не перечить.

Мало-помалу Евгений смирился с непорядками, махнул на них рукой. Вечера проходили однообразно: он скучал над газетой, жена молчала в углу. Додик тихо, стараясь не беспокоить родителей, раскладывал на полу свои кубики. Как и прежде, лился ровный электрический свет, лоснилась мебель, но под потолком, белым и блестящим, повисла, вытянувшись из одного угла в другой, большая серебристо-серая паутина.

\* \* \*

Евгеньева купила сыну занимательную игрушку — конструктор. Додик обрадовался металлическим планкам, колесикам, но первое время не знал, что с ним делать.

— Это можно складывать, — ласково сказала мать.

И показала, как складывается тележка. Додик заерзал от нетерпения:

— Я сам! Я сам!..

Ему не сразу далась новая игрушка. Он долго возился, сосредоточенно отдувая губы, наконец, к его великому восторгу, на столе появилась желанная тележка — длинная, кривобокая, с одним бортом. Он стремительно соскочил со стула.

— Едет, едет! — и, толкнув тележку, уселся на полу.

Неуклюжая машина протарахтела до середины комнаты и уткнулась в ножку стола. Додик смотрел очарованный. Забыв, что надо встать на ноги, он на четвереньках добрался до стола и начал выравнивать колеса.

— Нравится? — спросила мать.

Он не отвечал, занятый своим делом. Евгеньева повторила вопрос, и Додик поднял глаза. В них был целый океан радости. Мать удивилась и засмеялась. Непонятны эти ребятишки: почему он равнодушен к прекрасному автомобилю, купленному в магазине, и приходит в восторг от этой таратайки?

— Я буду в нем возить грузы, — объявил Додик.

Побежав к игрушкам, он схватил несколько кубиков, резинового слона и жестяную трубу. Несколько раз пробежал он от тележки к игрушкам, озабоченный и раскрасневшийся. Наконец грузы были уложены на тележку.

— А волка? — сказала мать.

— И волка тоже надо...

— А Петра Петровича?

— И Петра Петровича...

И Евгеньеву вдруг захватила эта радостная возня. Усадив волка и Петра Петровича, она помогла Додику привязать к тележке веревочку, а когда он повез свои грузы, шутливо затопала ногами и громко захлопала в ладоши:

— Догоню, догоню, поймаю!

Додик взвизгнул и помчался по комнате.

— Ай, догоняют! Съедят!..

— Съем, съем!.. — пугала мать.

Грузы сыпались из тележки, Додик скакал вокруг стола. Евгеньева стала на четвереньки и, рыча, потряхивая волосами, со смехом прыгала за тележкой. Что тут было — не описать! Вдруг веревка оборвалась, грузы полетели в одну сторону, тележка в другую. Мать с сыном сидели на полу среди комнаты и хохотали, хохотали; их волосы, одинаково льняные и вьющиеся, смешались вместе.

— Додошка, отдохни, — говорила мать.

Во второй раз Додику удалось построить какое-то сооружение, похожее и на колодезный сруб и на печку. Еще больше стало радости.

— Я сам сделал, сам! — хвалился Додик, прыгая вокруг матери.

Евгеньева смотрела на сынишку и жила его радостью. И даже гордилась его гордостью: как же, такой малыш — и вдруг столько сообразительности, умения! Это была счастливая, светлая минута. Занятые своим конструктором, мать с сыном даже не заметили, как вернулся Евгеньев.

Он одиноко расхаживал по комнате, покашливая, шуршал газетой. Евгеньева прислушалась к этим звукам и неожиданно для самой себя вдруг сказала сыну:

— Иди покажи папе, что мы сделали...

И когда он бросился в соседнюю комнату, пошла вслед за ним.

Евгеньев сидел над газетой, он был хмурый, невыбранный. Додик подбежал к нему и поставил на стол свое сооружение.

— Папа, посмотри, что я сделал... сам...

Евгеньев медленно отложил газету. Жена смотрела на него не отрываясь. Ее взгляд, блестящий и влажный, как бы говорил: «ну, брось, забудем старое, смотри, какие мы радостные, иди к нам». Но Евгеньев, аккуратный, как всегда, сначала положил палец на ту строчку, которую читал, затем осторожно отстранил Додика.

— Не мешай папе, — произнес он, — ты видишь, что он занят. Пора привыкать к порядку, ты уже не маленький.

Как же вскинулась Евгеньева, как она рванула Додика прочь от стола! Инженер остолбенел: жена стояла перед ним разъяренная, как тигрица.

— Да, не надо было мешать... Это не полагается по инструкции!

Конструктор грохнулся на пол. Додик посмотрел на отца, на мать, задрожал всем телом и вдруг горько, отчаянно заплакал.

\* \* \*

Перед вечером, когда переполнены тротуары и трамваи, когда день как бы начинается сначала и все оживленней становятся улицы, Евгеньев возвращался домой со службы. Он медленно шел по тротуару, не глядя по сторонам, и без конца думал одно и то же: «Нет, так больше нельзя».

Ему мешали сосредоточиться, его толкали со всех сторон, но он упорно возвращался к своим мыслям о домашних неурядицах, о жене и в сотый раз спрашивал себя: «Что же делать?»

Когда позади уже оставалась половина пути, его осенила вдруг счастливая мысль. Он даже улыбнулся — выход из положения был прост и легок.

«Все понятно: Лена хворает. Усталость, нервы, обычная штука... Ей нужен отдых. Надо доставать место на курорте. Пусть возьмет с собой и Додика, а если удастся получить отпуск, приеду к ним и я. Один месяц Крыма — и все войдет в норму».

Его обрадовало это решение. Он сел в трамвай и продолжал путь, уже совсем спокойный. Он с обычным удовольствием смотрел в окно — мелькали витрины, памятники; сторож поливал газоны, и водяная пыль сверкала, как бриллиантовая. Соседи по трамваю разговаривали о шахматном турнире, и он с вежливым любопытством прислушивался к их словам. Затем он вышел на площадку и замечтался о Крыме. Перед ним мелькнули пляжи, кипарисы, разноцветные камешки, золотая лунная дорожка на морской поверхности.

Кондуктор громко назвал остановку, и Евгенийев вышел из вагона.

Он бодро поднимался по лестнице. Уже давно он не возвращался домой в таком хорошем расположении духа. Сейчас все это кончится, все разъяснится.

Входная дверь была закрыта на ключ. Евгенийев остановился удивленный.

«Что такое? Ну, она, верно, недалеко, скоро вернется».

Он достал ключ и открыл дверь.

Под ногами хрустнуло. У самого входа, на пороге, была рассыпана земля, в беспорядке валялись какие-то черепки. Евгенийев с одного взгляда узнал в них горшок из-под бороды Аарона. Он посмотрел в угол, на банку из-под монпансье, — цветка не было. Ему вдруг стало не по себе.

Форточка была открыта настежь, и сквозняк беспокойно колыхал занавески. На столе трепетал, точно силясь оторваться, небольшой листок бумаги, накрытый чернильницей. Евгенийев сначала не обратил на него внимания, потом взгляделся и с внезапным беспокойством быстро подошел к столу.

«Пустяки...» — думал он недоверчиво.

По неровному листку, закапанному чернилами, стремились кривые, падающие вниз строки. Это был почерк жены — смешной, спотыкающийся почерк, который иногда, в минуты хорошего настроения, он в шутку называл пятилетним.

Евгенийев читал:

«Я ухожу, ухожу совсем и беру с собой Додика. Не пытайся нас вернуть; я не могу здесь больше оставаться.

Я ушла не потому, что мы ссорились. Вообще, не ищи каких-либо особенных причин — их не было. То есть, были

причины, но как о них написать, чтобы ты понял? Трудно, не умею...

Ты по-своему добрый и заботливый человек. Ты умеешь обеспечить свое семейство. Но с тобой тяжело. Мне хотелось видеть в тебе человека, человека с большой буквы, но ты просто манекен. Пойми меня... Настоящий человек должен иметь живую душу, быть самим собой, делать ошибки, исправлять их, а ты как стал на проторенную дорожку, так и идешь, и очень доволен. И это, поверь мне, очень страшно.

Пойми, я не требую от тебя никаких выходов, никакого геройства, но каждый, даже самый маленький человек, должен творить. Должен дать хоть каплю своего. А ты и говоришь и делаешь все по стандарту. Где же человек-то? Ах, я чувствую, что у меня получается не то; сама понимаю, а высказать не могу.

Вот ты покупаешь книги, провел радио, аккуратно чистишь зубы, поэтому считаешь себя культурным человеком. Какое мелкое понятие о культуре! Чушь, не в этом культура, не в одних чистых зубах! И если ты со своими книгами и радио, со всею твоей святостью считаешь себя современным человеком, то это тоже чушь. Ты — плохая пародия на современного человека.

Я за домашней возней как-то отстала от жизни, мало вижу и мало знаю людей. Но я уверена, убеждена, что в наши дни должен быть такой действительно новый человек. У него душа, а не стертый пяточок, многогранная душа; он, смеясь, идет по жизни, иногда заблуждается, падает, но зато и творит. А ты сидишь на одном месте, как шаман, и никому не светит твоя тусклая добродетель. Как же я могу тебе оставить Додика?

Ах, если бы дело было только во мне! В том-то и несчастье, что между нами стоит Додик. Но я не могу оставить его тебе. Жизнь меняется, становится интересной, необычной, а ты будешь калечить ребенка — как граммофон, читать ему свои деревянные нотации. Что из него получится? А я хочу, чтобы у Додика была настоящая душа, душа нового человека — живая и теплая. Нет, нет, я тебе его не доверю!

Вот и все мои причины. Ты, наверное, скажешь: ничего веского, одна психология, я тебе не изменял, я тебя не притеснял. Да, ты не совершил никаких преступлений, но



ты был слишком ординарен, в тебе ни капельки не было своего, чем ценен каждый человек. Пойми это.

Странно, что мы несколько лет прожили вместе. Я и раньше иногда задумывалась, но по-настоящему начала все понимать после случая с бородой Аарона. Помнишь, когда ты не понял простого движения детской души?

Прощай! Я уйду к сестре. Ты найдешь все на своем месте. Я возьму только бороду Аарона. Пойми, пойми все, что я хотела, но не сумела здесь сказать. Прощай».

Евгеньев дочитал до конца, перевернул бумажку, уронил, и сквозняк тотчас унес ее к двери.

— Пустяки... — повторил он снова.

Все это как-то плохо укладывалось в сознании — записка, уход жены, борода Аарона. Он тупо посмотрел на черепки, разбросанные у порога. «Ага, это она второпях стукнула банкой о косяк и унесла один куст». Непорочной белизной сияли пустые стены, стрекотал счетчик, и какая-то неуловимая насмешка была в его сухой, монотонной песенке.

— Пустяки... — в третий раз сказал Евгеньев.

И вдруг, точно внезапно прозревший, он понял, что это не пустяки, что в его жизни произошла непоправимая катастрофа, что все недавнее стало далеким прошлым и теперь начинается что-то новое, неведомое.

— Что же это такое, а? — громко сказал он, останавливаясь среди комнаты.

Так стоял он, стараясь понять, почему его вдруг лишили привычного уюта, спокойствия, тихих вечеров? Какое преступление он сделал, и за что его постигла такая жестокая расплата? Но как он ни старался, как ни напрягал голову — понять ничего не мог. Тихо было в комнате. И у порога возвышалась черной пирамидкой кучка сухой земли, и черепки желтели неровными краями.